Тайниковский
Бюро невозможных поручений
Украсть покойника

Тайниковский

Украсть покойника

«Тайниковский»

2026

Тайниковский

Украсть покойника / Тайниковский — «Тайниковский», 2026

— Мне нужно, чтобы вы украли моего мужа.— Его держат силой или он ушёл сам?— Он умер семь лет назад.С такими заказами в Бюро невозможных поручений ещё не обращались. Но деньги нужны, долги растут, а покойник, судя по всему, действительно не прочь сменить место жительства.Казалось бы, что сложного? Проникнуть в старую усадьбу, забрать мертвеца и доставить заказчице. Желательно до указанного срока и без лишних расходов.Вот только покойник пишет письма, хозяйка усадьбы что-то скрывает, а предыдущий специалист, взявшийся за дело, бесследно исчез.Теперь Рику Вельду и его весьма своеобразной команде предстоит выяснить, что на самом деле произошло семь лет назад. И почему некоторые двери лучше никогда не открывать.Бюро невозможных поручений. Мы берёмся за всё. Аванс вперёд.Вашему вниманию представляю новую книгу в жанре детективного городского фэнтези. Надеюсь вам понравится!)

© Тайниковский, 2026
© Тайниковский, 2026

Содержание

Глава 1 5
Глава 2 15
Конец ознакомительного фрагмента. 24

Тайниковский
Украсть покойника

Глава 1

— Мне нужно, чтобы вы украли моего мужа.

Я дописал цифру столбик в очередной раз не складывался, а затем поднял глаза.

Колокольчик над дверью ещё качался. Женщина стояла у порога, не дойдя до скамьи для клиентов, — так стоят люди, которые заготовили первую фразу и не придумали вторую.

Лет сорока. Серое шерстяное платье хорошей работы, перекрашенное из чего-то более светлого: на швах краска легла гуще. Подол промок на ладонь. В такой дождь от Арочной площади до нас берут коляску за три петли; она шла пешком, и, судя по грязи на подоле, шла от реки.

— Садитесь. Его держат силой или он ушёл сам?

— Какая разница?

— В цене. Если сам, это называется «вернуть», и мы считаем как за сложное. Если держат, это «выкрасть», а после такого стража приходит с вопросами к нам, а не к вам.

Бор у камина перестал скрести шилом ремень. Он чинил пряжку с самого утра, и я подозревал, что она давно готова, просто у огня сидеть лучше, чем у двери.

Женщина села на край скамьи. Перчатки она держала в левой руке, сложив одну в другую.

— Он умер семь лет назад.

Я положил перо.

За три месяца, что на доме снова висела вывеска, к нам приходили с разным. Просили найти сбежавшего компаньона, собаку с родословной, вексель, зашитый в чужое пальто. Один человек хотел, чтобы мы доставили его тёще письмо и проследили, что она дочитала до конца. Украсть покойника пока не просили. Я прикинул, сколько берут могильщики за ночную работу, и вышло, что дело скорее дешёвое.

— Соболезную. Где он лежит?

— Нигде. Он у моей сестры.

— В каком… — я поискал слово, которое не обидит вдову. — В каком виде?

— Разговаривает.

Про оттиски я знал то, что знает всякий, кто десять лет ходил по старым камням. Возле них иногда остаётся эхо человека, который там умер. Эхо твердит две-три фразы, пугает новичков и за год-другой выцветает, как вывеска на солнечной стороне. В Дом Меры о таком положено сообщать, оттуда приходит мерный отец с весами, сводит расчёт, и на этом всё. За эхом не идут пешком через полгорода под дождём и не называют его мужем.

— Простите, госпожа…

— Морн. Эльза Морн.

— Рик Вельд. Госпожа Морн, откуда вы знаете, что он разговаривает? Вы его слышали?

— Нет. Сестра меня не принимает, — она сунула руку за ворот, вытянула шнурок с маленьким ключом, а из кармана на юбке достала сложенный вчетверо листок. Листок она положила на стол передо мной, ключ оставила в кулаке. — Он написал.

Бумага была в мелкую клетку, из полевой книжки, какие носят землемеры: с одного края остались зубцы от корешка. Писали свинцовым карандашом, быстро, с сильным наклоном вправо.

«Эльза. Я на Мызе. Забери меня отсюда, К. не отпустит. В Ортене, на Старых Весах, двенадцать-бис, есть бюро: там берутся. Прости за всё. Ю.»

Я прочёл дважды. Двенадцать-бис — это мы. Тринадцатых домов в Ортене нет, как нет тринадцатого места за столом: после двенадцатого идёт «бис», и городской землемер уверен, что этим кого-то обманул.

На сгибе бумага была влажной и шершавой, будто её складывали мокрыми руками, в которых перед тем держали песок.

— Когда вы это получили?

— Девятого числа Девятого. Месяц без двух дней.

— С почтой?

— В бюро, — она увидела моё лицо и поправилась: — В моём. В письменном бюро, у меня дома. В запертом ящике. Ключ один, и я его не снимаю.

— Даже на ночь?

— Даже в бане.

— Кто ещё бывает в комнате?

— Хозяйка, когда я плачу за месяц. При мне.

— А почерк точно его?

— Я шесть лет переписывала набело его планы, господин Вельд. Я знаю, как он пишет двойку, — она ткнула пальцем в «двенадцать-бис», не коснувшись бумаги. — С петлёй внизу. Так больше никто не пишет, это неудобно.

Двойка была с петлёй. Доказательством это не служило: за шесть лет чужую руку выучит кто угодно, а самый простой способ положить письмо в запертый ящик — иметь второй ключ. Я начал с того, что проще.

— У вашей сестры мог остаться ключ от этого бюро? Оно из дома?

— Из дома. Его подарил мне муж, когда мы уезжали с Мызы, — она помолчала. — Я думала об этом. Неделю считала, что Катрина так шутит. Потом поехала в Вязель.

— И что там?

— Меня не пустили дальше ворот. Управляющий сказал, что госпожа Орвик не принимает. Он это говорил, а за его спиной, в окне второго этажа, стояла моя сестра и с кем-то разговаривала. С кем-то в комнате. И смеялась, — госпожа Морн разгладила перчатки на колене. — Моя сестра не смеётся с тех пор, как я вышла замуж.

И это ни о чём не говорило. У женщины тридцати с чем-то лет, которая одна держит усадьбу, может найтись с кем посмеяться и без покойного зятя. Но последнюю фразу госпожа Морн произнесла тем же голосом, каким называла числа, и я отметил её как сведение: между сёстрами стоит не только покойник.

— А наш адрес ему откуда известен?

— Бюро Гая Вельда семь лет назад знали все, — она огляделась: карта на стене, доска, шкаф, Бор. — Я считала, что его больше нет. В листках писали, что Вельд пропал.

— Пропал. Контора осталась.

— А вы ему?..

— Совладелец конторы.

— Брат, — поправил Бор от камина. — Младший.

Бор двадцать шесть лет заполнял в протоколах графу «кем приходится» и не видел причин оставлять её пустой. Я посмотрел на него. Он посмотрел на ремень.

— Тогда вы знаете, как он работал.

— Я знаю, сколько он брал. Давайте по порядку. Тихая Мыза — это где?

— Три дня по Плёсскому тракту. Мельницы моего отца под Вязелем, теперь сестрины. Юлиан утонул там в запруде, девятнадцатого Десятого, семь лет назад. Так мне сказал отец.

— Сказал. Сами вы не видели?

— Я была здесь, в Ортене. Приехала на четвёртый день.

— Расчёт сводили при теле? — спросил Бор.

Она повернулась к нему. До этой минуты Бор был для неё частью обстановки, вроде кочерги.

— Гроб был закрытый. Отец не позволил смотреть: неделя в воде.

Бор отложил шило на колено.

— Вы приехали на четвёртый день.

— Да, к вечеру.

— А в воде он был неделю.

Госпожа Морн открыла рот и закрыла. По-моему, за семь лет она ни разу не сложила эти два числа.

— Бывает, — отозвался Бор и опять взялся за шило. — Люди путают, когда горе.

Он так не думал. Я тоже.

Дверь кабинета распахнулась без стука, как всегда, потому что стучат в чужие двери, а Адель Рейн считает кабинет своим. В одной руке она держала мерную иглу в стеклянной трубке, другой придерживала фартук, чтобы не сыпать на пол. На рукаве у неё белела соль, на щеке тоже. Стены в этом доме тонкие; я не сомневался, что она слышала всё с первого слова и терпела сколько могла.

— Семь лет?

Здороваться с клиентами Адель не научилась и за три месяца. Я пробовал объяснить, зачем это нужно; она выслушала и ответила, что приветствие не несёт сведений.

— Моя партнёрша, Адель Рейн. Она занимается всем, что нельзя потрогать.

Адель смотрела только на гостью.

— Оттиск такого возраста не описан. Самый долгий достоверный случай — три года и два месяца. Нижний Керн, смотритель маяка. Он повторял одну фразу про масло для лампы. К концу первого года от фразы осталась половина. Ваш узнаёт людей? Отвечает на вопрос или говорит своё? Повторяется?

— Я его не видела.

— Тогда на чём основано утверждение, что он разговаривает?

— Адель, — остановил я.

— Это существенно. Если он не повторяется на седьмом году, значит, это не остаточная мера, а что-то, чего…

— Адель. Письмо.

Она увидела листок, и остальное перестало для неё существовать.

— Можно?

Спросила она уже с листком в руке. Госпожа Морн дёрнулась, но смолчала. Адель положила письмо на край моего стола, поверх счёта от Соляной палаты, и подвесила над ним иглу.

Игла на нити должна качнуться к тому месту, где недавно расходовали меру: к свежей печати, к фонарю-держалке, к мокрому следу расчёта. Над этим самым счётом она с утра ходила ходуном, потому что мерщики ставят печать, не жалея соли, — за наш счёт, как и всё остальное. Над письмом игла повисла отвесно и замерла.

Адель передвинула её вдоль строк. Подержала над сгибом. Перевернула листок и проверила с изнанки.

— Пусто. На нём не было расчёта. Вообще никакого, ни печати, ни переноса. Его не доставляли ничем из того, что можно купить в соляной лавке.

— Значит, принесли руками.

— В запертый ящик.

— Со вторым ключом.

— Тогда почему бумага сырая? — она поднесла письмо к носу, и госпожа Морн привстала со скамьи. — Оно пролежало в сухом ящике месяц. Оно пахнет… Рик, понюхай.

Я понюхал. Пахло бумагой, свинцом и ещё чем-то, чем в Ортене пахнуть не должно: до моря от нас шесть дней.

Адель повернулась к вдове. По её мнению, то, что она собиралась сообщить, должно было утешить.

— Оттиски не пишут писем. Им нечем. У них нет рук, нет карандаша и нет способа положить предмет в закрытый объём. Либо вам написал живой человек, либо ваш муж не оттиск. Третьего современная теория не допускает.

— Мой муж, — возразила госпожа Морн. — Всегда находил чем.

Впервые за разговор в её голосе прозвучало что-то кроме чисел: усталость женщины, которая слишком хорошо знала, на что способен этот человек, если ему что-нибудь понадобится.

— Моя партнёрша хочет сказать, что случай редкий, — вмешался я. — Редкие случаи мы считаем по отдельной строке. Адель, верни письмо.

Адель вернула, но сначала вытряхнула со сгиба на чистый лист десяток серых крупинок и накрыла их блюдцем из-под моей чашки. Госпожа Морн проводила блюдце взглядом и спрятала письмо обратно в карман.

— Теперь о деле. Оттиск к чему-то привязан: к месту, к вещи, к костям. Место не унесёшь. Вы знаете, что нам выносить?

— Нет. Не знаю.

— Тогда работы две. Сначала узнать, на чём он держится, потом войти в дом, куда вас не пустили, взять это и довезти сюда. По нашей доске — очень сложное. Сорок арок, половина вперёд. Дорога, ночлег и всё, что придётся купить, — отдельно, по распискам.

Она достала из-за пояса кошель и положила рядом с чернильницей. Кошель был завязан и лёг на стол плотно, без звона.

— Здесь двадцать.

Я не стал развязывать. Человек, который приносит ровно половину, знает расценки заранее, а цен у нас на двери нет, только часы приёма.

— Срок — двадцать шестое Десятого.

— Сегодня седьмое. Три дня туда, три обратно. Остаётся двенадцать и ещё один на дом, в котором вас не пустили дальше ворот. Почему двадцать шестое?

— Это моё дело.

— Госпожа Морн, с той минуты, как я возьму кошель, оно станет и моим. Если двадцать седьмого выяснится…

— Двадцать седьмого он мне будет не нужен.

Она произнесла это спокойно и стала смотреть на карту у меня за плечом. На карте с тех времён, когда здесь работал прежний владелец, остались дырки от булавок. Булавки я вынул в первую же неделю.

— За срочность мы прибавляем четверть. Пятьдесят.

— Хорошо, пусть пятьдесят.

— И десять вперёд на расходы.

— У меня с собой шесть. Остальное завтра.

— Срок можно сдвинуть на два дня, тогда без надбавки.

— Нет. Двадцать шестого, до закрытия весовой.

Клиенты торгуются о деньгах и уступают в сроках, это известно каждому, кто хоть раз подписывал договор. Госпожа Морн делала наоборот. Десять арок она уступила не моргнув, а за два дня готова была встать и уйти. И время назвала не «к вечеру» и не «до темноты», а по храму.

Я придвинул реестр. Он достался нам вместе с домом — толстая книга в клеёнке, на три четверти исписанная чужим размашистым почерком. Наши три записи жались в конце, на одном развороте. Номер вышел двести семнадцатый.

Третье правило Бюро прибито на стене у двери, и я ни разу об этом не пожалел: поручение записываем дословно и читаем заказчику вслух.

— «Заказчица — Эльза Морн, урождённая Орвик, проживает в Ортене у Нижнего моста. Поручение: вынести из усадьбы Тихая Мыза под Вязелем останки либо оттиск Юлиана Морна, скончавшегося…»

— Напишите «мужа».

— Это одно и то же лицо.

— Я не знаю, что от него осталось, господин Вельд. Вы тоже не знаете. Я не хочу, чтобы через две недели мне привезли горсть ила из запруды и объявили, что по бумаге всё исполнено. Напишите так, как я сказала, когда вошла.

Я зачеркнул строку и написал ниже. Потом прочёл:

— «Поручение: украсть мужа заказчицы, Юлиана Морна, из усадьбы Тихая Мыза под Вязелем и доставить заказчице не позднее двадцать шестого числа Десятого месяца сего года, до закрытия весовой. Плата — пятьдесят арок, из них двадцать внесено. На расходы внесено шесть».

— Да. Так.

Она расписалась мелко и ровно, не отрывая пера. Я поставил свою подпись и развернул книгу к Адель. По завещанию ни одна бумага Бюро не имеет силы без обеих подписей. Мэтр Халле, душеприказчик, объяснял мне это трижды, с каждым разом всё медленнее. Продать свою половину я тоже не могу, это он объяснял дважды.

Адель прочла запись целиком, как читает всё: до точки.

— Здесь не сказано, в каком состоянии доставить.

— Заказчица так хочет.

— Это неточно.

— Это дословно.

Она подписала. Я выписал госпоже Морн расписку на двадцать шесть арок, она сложила её вчетверо, тем же движением, каким складывала письмо, и встала. У двери она остановилась.

— Господин Вельд. Если он спросит… — она подумала. — Нет. Ничего. Передайте, что письмо дошло.

Колокольчик звякнул, и по ногам потянуло сыростью.

* * *

Доска поручений висит справа от камина. Шесть столбцов, под каждым ряд гвоздей: «ОБЫЧНОЕ», «СЛОЖНОЕ», «ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ», «ОПАСНОЕ», «БЕЗУМНОЕ» и «НЕ БРАТЬ». Под пятью первыми сейчас было пусто, если не считать бумажки про вексель в пальто, которую я забыл снять. Под шестым желтели четыре записки, наколотые ещё прежним владельцем: «Свадьбы». «Наследства». «Родня заказчика». «Всё, за что платят слишком легко».

Я написал на обрезке «217. Морн. Покойник» и пошёл с ним к третьему столбцу.

— Три из четырёх, — подал голос Бор.

— Три из чего?

Он показал шилом на шестой столбец.

— Наследство. Родня. Платит легко. Свадьбы только нет.

— Она была замужем.

— Тогда четыре.

— Он это вешал, когда у него водились деньги, — ответил я и наколол обрезок под «ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ». — У нас счёт от Соляной палаты на четыре арки шесть створок и налог на вывеску до конца месяца.

— Счёт обоснованный, — возразила Адель. — Я дам тебе выкладки по каждой щепоти.

— Я не сомневаюсь, что он обоснованный. Я сомневаюсь, что он оплачен.

Она пропустила это мимо. Она стояла у моего стола, приподняв блюдце за край, и разглядывала крупинки.

— И это повешено не туда. Оттиск семи лет невозможен. Письмо в запертом объёме без следа расчёта невозможно. Два невозможных обстоятельства в одном деле — это по твоей доске «БЕЗУМНОЕ».

— «Безумное» идёт по соглашению, а соглашение мы уже подписали. Перевешу — придётся объяснять ей, почему подорожало.

— Категория должна описывать задачу, а не цену.

— Категория описывает, сколько брать вперёд.

— Я бы вешал под «ОПАСНОЕ», — Бор не поднял головы от ремня.

Мы оба повернулись к нему.

— Там мельничиха и землемер. Что опасного?

— Сёстры, — он продел ремень в пряжку и подёргал. — Меня за двадцать шесть лет резали дважды. Оба раза на кухне, оба раза родня. Не моя.

Бор Грейн сидит у нашего камина с Восьмого месяца. До того он сидел в караульной Нижнего околотка, и я его там видел: двенадцать лет назад он привёл меня туда за ухо, фигурально выражаясь, после разговора с одним заказчиком, который не хотел платить. Нанял я его за умение стоять у двери так, чтобы клиенты вспоминали о долгах сами. Что он, кроме того, умеет складывать четыре дня и неделю, обнаружилось позже и бесплатно.

— Рассказывай. Что ты увидел?

— Перчатки штопаны на трёх пальцах. Нитка не в цвет: брала какая была. Башмаки чинены, каблук новый, носок старый. А золото отдала не глядя.

— Думаешь, последнее?

— Развяжи и глянь.

Я распустил завязки. Двадцать арок, все одной чеканки, с профилем старого короля, тусклые и ровные, без единой свежей царапины. Такие монеты не ходят из рук в руки. Они лежат в чулке, пока не понадобятся все сразу.

— Приданое. Или то, что от него уцелело. И браслет ты видел?

— Серебряный, на левой.

— Брачный. Когда по мужу сведён расчёт, браслет снимают, а в храме дают гирьку на ленте. Вдовы носят её тут, — он тронул себя под горлом. — Она назвалась вдовой. Гирьки нет, браслет на месте.

Я видел браслет и не подумал о нём. Десять лет я учился смотреть на стены, замки и на то, как человек держит руки, когда врёт о цене. Что женщины носят на шее, меня до сих пор не занимало.

— Значит, расчёт по нему не сведён. Через семь лет после похорон.

— Значит, надо сходить посмотреть. Храмовые книги открыты до шестого колокола.

— Сходи. И узнай в околотке, не числится ли за Морнами чего. Долги, тяжбы, жалобы.

— Это мне будет стоить кружку.

— Под расписку.

Он хмыкнул. Расписок из кабаков он мне пока не приносил, но я не терял надежды.

Адель отставила блюдце и теперь трогала крупинки кончиком иглы.

— Мне нужно видеть, на чём он держится. Не описание. Сам предмет и место.

— Сначала выясни, бывает ли так вообще. Кто-то же писал про долгие оттиски. Тот смотритель с маяка: кто его описал, где это лежит?

— В «Вестнике кафедры», том сорок… — она оборвала себя. — В библиотеке Академии.

В библиотеку Академии её не пускали уже год. На воротах, говорят, висел приказ с её именем, и привратник выучил его раньше всех прочих приказов. Причину я знал в общих чертах: был опыт, после которого у западного крыла не стало угла. При слове «взорвала» Адель поправляла любого собеседника, будь он хоть магистр, и поэтому я этого слова не произносил.

— Я найду, где прочесть, — ровно отозвалась она.

— Хорошо, ищи.

— И кое-что есть ближе. Гай писал мне про оттиски. В девяносто восьмом, два письма. Он собирал случаи, у него была тетрадь. Она должна быть наверху.

— Наверху ничего интересного.

Адель подняла голову.

— Ты отвечаешь так в одиннадцатый раз. Слова те же, порядок тот же. Про то, что видели, говорят по-разному. Одинаково говорят то, что заранее решили сказать.

— Я считаю расходы, а ты считаешь мои слова?

— Я считаю всё.

Обвинения в этом не было. Она сообщала результат наблюдения и ждала, что я его либо опровергну, либо признаю, как положено между людьми, которые уважают метод. Ключ от третьего этажа лежал у меня в жилетном кармане. Он лежал там три месяца, и я успел привыкнуть к его весу.

В шкафу стукнуло.

Шкаф стоит в углу, между окном и архивом, — высокий, тёмный, на львиных лапах, из тех, что переживают хозяев. Мы держим в нём плащи и сапоги. Дверца подалась, как подаётся всегда, когда на неё наваливаются изнутри, и на пол выпало круглое существо, размером с очень сытого кота.

Плюх.

Назвал его Бор, по звуку, и другого имени никто не предложил. Шерсть у него цвета пыли под кроватью, уши мятые, будто его в них что-то заворачивали, а глаза — две чёрные пуговицы, которые смотрят чуть мимо тебя. Мы нашли его в этом шкафу, когда отперли дом. Чем он питался пять лет в запертом здании, Адель выясняет до сих пор. Игла на него не отклоняется; она проверяет это каждое утро с тем упорством, с каким другие люди смотрят в окно, не пошёл ли дождь.

В зубах Плюх держал что-то латунное на деревянной ручке. Он дошёл до середины комнаты, положил это у моего сапога, сел и стал чесаться. С него посыпался мелкий серый песок. Где он его берёт среди плащей, я перестал спрашивать на вторую неделю.

Я поднял находку. Круглая печать, тяжёлая; на оттиске весы, вокруг них буквы в зеркальном порядке. Я разобрал их справа налево.

— «Сибелиус Тонк, нотариус, Ортен, Старые Весы, одиннадцать». Это печать соседа.

— Из запертого стола? — оживилась Адель.

— У нотариусов они в железном ящике, — ответил Бор. — Под ключом. Кража нотариальной печати — три года Соляных Затонов. Если по закону.

— А если не по закону?

— Тогда отнеси сам. Он обедает в полдень, дома, с женой. Писарь в это время спит.

До полудня оставалось меньше получаса. Я завернул печать в платок и сунул в карман, к ключу.

— Значит, так. Адель ищет, где прочесть про долгие оттиски. Бор идёт в храм и в околоток. Я к Тонку, потом в меняльный ряд: хочу знать, кому должен землемер Морн и сколько. И ещё нам понадобится человек.

— Какой ещё человек?

— Который входит в дома, куда не зовут. Ты должен знать таких.

— Знаю с десяток.

— И где они?

— Все сидят. Я их сам сажал.

— А те, что не сидят?

— Этих я не поймал, — он встал и снял с гвоздя плащ. — Этих не знаю.

* * *

С печатью обошлось дороже, чем я рассчитывал. Писарь, как и было обещано, спал, уронив голову на опись чьего-то имущества. Зато мэтр Тонк не обедал. Он стоял на коленях перед открытым железным ящиком и по одной вынимал оттуда папки. Мне пришлось срочно захотеть заверенную копию свидетельства о наследстве. Пока он искал бланк, печать оказалась за ножкой стола, а потом я её там заметил и показал: «Мэтр, у вас упало».

Он долго смотрел на печать, потом на меня, потом на стену, за которой у нас стоит шкаф. Нотариусы умеют молчать за деньги; мэтр Тонк помолчал даром, и это мне не понравилось. За копию он взял две створки. Вечером я вписал их в книгу расходов и в графе «на что» поставил: «Плюх».

В меняльном ряду Морна помнили. Землемер, занимал под раскопки, возвращал неаккуратно, но платил — пока был жив. Его векселя давно скуплены в одни руки. Чьи это руки, мне обещали назвать завтра, за створку. Я согласился: чтобы семь лет держать векселя покойника и не предъявить их вдове, нужна причина.

Домой я вернулся под седьмой колокол, мокрый до колен. Адель пришла раньше. Про библиотеку она не обмолвилась ни словом, и я не стал спрашивать. Дверь кабинета стояла открытой, а когда у Адель что-нибудь не выходит, она закрывает её плотно.

— Иди сюда, — позвала она.

В кабинете прежнего владельца теперь пахло как в соляной лавке. Его письменный стол она застелила клеёнкой и заставила склянками, на подоконнике сохли бумажные пакеты с надписями её мелким чертёжным почерком. Посреди клеёнки на чёрном стекле лежали те самые крупинки, и над ними на штативе стояла лупа.

— Посмотри в лупу.

Я посмотрел. Песок как песок, серый.

— Они круглые. Речной песок остроугольный, его мало катает. Этот катало долго. И вот, — она тронула мокрым пальцем край стекла и поднесла палец мне, как подносят ложку. Я провёл по стеклу своим и лизнул. Горько-солёное.

— Соль, что ли?

— Да. Только игла на неё не идёт, значит, не мерная. И не поваренная, та не горчит. Это морская соль, и песок под ней оттуда же. На письме, которое месяц пролежало в сухом ящике в городе, где до моря шесть дней.

— А в Вязеле?

— В Вязеле река. Я знаю, что там река, я посмотрела по карте. Пресная.

Она сняла очки, которые надевает для мелкой работы, и потёрла переносицу. На переносице остался белый след.

— У меня нет объяснения.

Для Адель Рейн это примерно то же, что для другого человека «не знаю», только обходится дороже. Седьмое правило — «чего не знаем, так и говорим» — я дописал на стену в первый месяц, после одного разговора с заказчиком о свойствах его фамильного зеркала. С тех пор она глядит на это правило так, как Бор — на «расходы — с расписками».

— Запиши как есть. Песок морской, соль морская, письмо сухопутное. Объяснение поедет с нами в Вязель и там найдётся.

— «С нами»?

— Я оговорился.

— Ты не оговариваешься.

Ответить я не успел: звякнул колокольчик, и в приёмной затопали, сбивая воду с сапог.

Бор повесил плащ на гвоздь, сел на своё место и достал из-за пазухи свёрток в тряпице. Свёрток он положил на мой стол.

— Мира прислала. С капустой. Велела передать, что ты тощий.

— Она меня видела один раз.

— Ей хватило.

Кружка у него своя, глиняная, с отбитой ручкой; он принёс её из дома в первый день и поставил на каминную полку так, что стало ясно: полка занята. Я налил ему из чайника. Адель встала в дверях кабинета.

Бор сделал глоток, обхватив кружку обеими руками, как на морозе.

— Юлиан Морн, землемер, тридцати четырёх лет. Отпет в Вязеле двадцать третьего Десятого, девяносто седьмой год. Запись переслали в Ортен, потому что венчан здесь. В графе «тело предъявлено» — прочерк. Свидетель смерти один: Берент Орвик, тесть. Расчёт не сведён.

— Совсем не сведён?

— Строка пустая. Отпевание было, гроб был, а взвешивать оказалось нечего.

— Семь лет, выходит.

— Двадцать шестого выйдет семь и семь дней.

Я должен был сообразить сам, ещё когда она назвала закрытие весовой. Закон «семи и семи» в Хальвене знает всякий, у кого пропадал родственник или должник. Семь лет и семь дней человек может числиться нерассчитанным: ни живым, ни мёртвым. Потом его списывают. Что за ним было, делят пополам Дом Меры и корона. Исключение одно: долги, как самая живучая часть человека, остаются семье.

— Стало быть, у покойника есть что делить.

— Или есть что платить.

— В меняльном ряду говорят — платить.

— Тогда зачем он ей двадцать шестого? — спросила Адель. — Если его спишут и долги всё равно останутся на ней, оттиск ничего не меняет.

— Меняет, если по нему успеют свести расчёт, — Бор покачал кружку, разглядывая дно. — Сведён — значит, умер по всей форме. Тогда вдова. А вдове с долгами проще, чем жене нерассчитанного. Мне мерная мать объясняла, я половину не понял. Там ещё что-то про наследование.

— Значит, она хочет не мужа, — заключила Адель. — Она хочет запись.

— Она хочет и то и другое, — возразил я. — Одно другому не мешает. Люди редко хотят чего-то одного.

Версия складывалась простая и некрасивая. Сестра прячет оттиск. Вдове он нужен в храме до двадцать шестого, иначе она до конца жизни будет платить чужие векселя. Письмо, песок и семь лет в эту версию не лезли, но на то она и первая.

— Это ещё не всё.

Бор допил, поставил кружку на полку и только потом продолжил. Так он делает, когда приносит что-то, чего не просили.

— Писарь говорит, эту страницу за месяц открывали трижды. Первой приходила она сама, ещё в Девятом. Сегодня я. А между нами — господин, который не назвался и дал писарю створку, чтобы тот его забыл.

— И писарь?

— Створку взял. Лицо забыл, как договаривались. Манжеты запомнил: про манжеты уговора не было. Правая в чернилах по самую пуговицу. Переписчик или кто-то, кто целый день пишет чужое.

— Давно он приходил?

— Дней десять назад.

Я посмотрел на доску. Обрезок с номером двести семнадцать висел под «ОЧЕНЬ СЛОЖНОЕ», а через два столбца от него желтела старая записка: «Всё, за что платят слишком легко».

Кто-то узнал о сроке раньше нас и заплатил, чтобы об этом не знали. Клиентка об этом человеке либо не слышала, либо промолчала. И то и другое стоило дороже пятидесяти арок, а цену я уже назвал.

— Перевесить? — спросил Бор.

— Утром перевешу.

Он пошёл за плащом. Мира держит ужин до восьмого колокола и ни минутой дольше; это правило старше любого из наших.

* * *

Столбик я всё-таки сложил заново. Аванс в него не вошёл: пока поручение не исполнено, это чужие деньги, которые лежат у нас. Вышло на две створки хуже, чем утром, из-за копии у Тонка.

Потом я прикрыл угли, задвинул засовы на обеих дверях и поднялся к себе. Пирог я съел на лестнице, стоя, потому что хотел только попробовать. Адель у себя ещё не ложилась: под её дверью лежала полоса света, и слышно было, как она переставляет склянки. На площадке третьего этажа было темно. Там всегда темно.

Колокольчик над входной дверью у нас голосистый. Его слышно в моей комнате и во сне, и в ливень, и из-под подушки, это проверено. В ту ночь он молчал.

Разбудила меня дверь. Свою я на ночь не закрываю до щелчка, и когда внизу отворяют входную, по лестнице идёт тяга, а моя качается и стукает о косяк. Один раз, негромко. За три месяца я запомнил этот звук, как и то, что третья ступенька сверху скрипит посередине, а седьмая — у стены.

Я полежал, слушая. Дождь. Больше ничего. Шагов внизу не было, и это мне понравилось меньше всего: человек, который не шумит в чужом доме в темноте, знает, зачем пришёл.

Сапог я надевать не стал. Нож взял.

Лестница спускается в приёмную у самого входа. Я прошёл третью ступеньку по краю, седьмую по середине и встал внизу, спиной к двери. Засов был отодвинут. Колокольчик кто-то заботливо обмотал тряпкой и подвязал язычок ниткой, чтобы не качался; работа была аккуратная, я бы сам лучше не сделал.

На моём столе стоял потайной фонарь, открытый на одну щель, и щель светила на реестр. Над книгой склонилась узкая спина в мокрой куртке; палец с обкусанным ногтем вёл по последней строке.

Дверца шкафа была приоткрыта. Из темноты между плащами на гостя смотрели две чёрные пуговицы — чуть мимо, как всегда.

— Положи на место то, что взял.

Фонарь не дрогнул. Спина не обернулась. Это я оценил.

— Я ещё ничего не взял, — ответили от стола. Голос был молодой и обиженный. — Я только начал.

Глава 2

Бежать он начал не сразу, и это тоже говорило в его пользу.

Сначала он закрыл реестр. Аккуратно, заложив страницу лентой, как она и лежала. Потом задвинул шторку фонаря, и в приёмной остался только красный отсвет углей. Потом заговорил в темноту, рассудительно, словно мы с ним третий час сидели за одним столом:

— Если я сейчас пойду к двери, вы меня ударите?

— Смотря как пойдёшь.

— Ногами. Руки вот, — судя по шороху, он их поднял. — Нож у вас длинный?

— Мне хватает.

— Тогда я лучше не к двери.

И пошёл не к двери. Он ушёл вбок и назад, к кухне, так тихо, что я понял это только по сквозняку: кто-то толкнул кухонную дверь. Окно в приёмной я заколотил в первую же неделю, рама там гнилая, а кухня выходит во двор, и засов на ней я задвигал сам, два часа назад. Он должен был провозиться с ним хотя бы столько, сколько мне нужно на шесть шагов.

Провозился он меньше. Когда я вошёл в кухню, засов был уже отодвинут и дверь во двор приоткрыта, в щель несло дождём. Гость стоял на пороге одной ногой, а вторую не мог оторвать от пола.

Он дёргал её молча и сосредоточенно, как тянут сапог из болота.

На лестнице появился свет. Адель спускалась с лампой в одной руке и бумажным пакетом в другой, в халате поверх рубашки и в очках. Очки на ночь она снимает; значит, не ложилась.

Она ткнула лампой в сторону порога, и я сперва решил, что предупреждают гостя.

— Не наступай на порог, Рик. Там удерживающий контур. Третьего класса.

— Откуда там контур?

— Я кладу его каждый вечер. На входную дверь нельзя: утром приходит Бор. А через кухню никто не ходит.

Я посмотрел под ноги. Вдоль кухонного порога, от косяка до косяка, тянулась белая линия в палец шириной, и в лампе было видно, что она не просто насыпана, а выведена: по краям шли мелкие зубцы, какими Адель подписывает пакеты.

— Каждый вечер, — повторил я. — Три месяца.

— Щепоть в неделю, если не наступать. После срабатывания нужно класть заново.

— Это и есть наш счёт от Соляной палаты?

— Малая его часть. Я покажу выкладки.

— Это что, мушиная бумага? — спросил с порога гость. Он перестал дёргать ногу и рассматривал линию с уважением. — Я такую в лавках видел, у ювелиров. Ни разу не видел, чтоб в жилом доме на чёрном ходу. Вы богатые, что ли?

— Нет, как видишь.

— Тогда зачем?

— Я не знала, что не сработает раньше, — объяснила Адель. — Это был опыт.

Лампу она подняла выше, и я наконец его разглядел. Лет двадцати, а на вид и того меньше. Узкий, жилистый, чёрные вихры торчат во все стороны, нос когда-то сломан и сросся с лёгким поворотом влево. Куртка на нём была с чужого плеча, зато сапоги свои, мягкие, без каблука и без единой железки. Такие шьют на заказ люди, которым важно, как звучит шаг.

Он посмотрел на меня, на нож, на Адель, на линию. Потом присел, расстегнул на левом сапоге две пряжки и вынул из него ногу. Сапог остался стоять на пороге.

Это было сделано так быстро и так спокойно, что я успел только шагнуть. Он уже стоял во дворе, под дождём, в одном сапоге, другая нога в чулке, и между нами была открытая дверь.

— До свидания, — вежливо попрощался он.

— Сапог забыл.

Он остановился.

— Что — сапог?

— Пара стоит арку, если шить у Валлена на Кожевенной, а ты шил именно там: у него шов по голенищу внутрь. Один сапог не стоит ничего. В одном чулке до Нижнего околотка ты не дойдёшь, там брусчатка битая. А до утра я опишу стражникам и сапог, и нос.

Он подумал. Дождь стекал у него по вихрам на воротник.

— А если я вернусь за сапогом?

— Тогда мы поговорим. Потом ты его получишь.

— А нож?

Я положил нож на кухонный стол, рядом с хлебной доской.

— А она? — он мотнул головой в сторону Адель. — У неё в пакете что?

— Соль, — Адель приподняла пакет. — Три щепоти. Я не успела решить, на что.

Это его почему-то успокоило. Он вернулся, переступил через собственный сапог, аккуратно, не коснувшись линии, сел на табурет у плиты и вытянул к ней ногу в мокром чулке. Адель поставила лампу на стол. Я закрыл дверь во двор и задвинул засов. Теперь я видел, как его открывали: в щель между дверью и косяком была пропущена вощёная нитка с петлёй, петля ещё висела на рукояти.

— Зовут как?

— Никс.

— Это имя или прозвище?

— Это всё, что есть.

— На кого работаешь, Никс?

— На себя.

— А сегодня ночью?

Он пошевелил пальцами в чулке и посмотрел на свой сапог.

— А сегодня ночью — на господина, который дал две арки вперёд и обещал ещё две. И тут я хочу сразу, пока вы не подумали лишнего: я у вас ничего не брал. И не собирался. Мне было велено прочесть.

— Что прочесть?

— Что вчера заказала женщина в сером. Слово в слово, как записано. И срок. Он объяснил, что у вас всё пишется в книгу, книга лежит на столе у окна, толстая, в клеёнке. Так и оказалось, — он оживился. — Четыре арки за то, чтобы войти, прочесть две строчки и выйти. Я такого заказа в жизни не видел. Я сперва решил, что ловушка, и два дня ходил мимо. Потом решил, что он просто не умеет считать деньги.

— Два дня? — переспросил я. — Она пришла вчера утром.

— Ну да, а я два дня ходил.

— Он нанял тебя до того, как она пришла.

Никс открыл рот, закрыл и посмотрел на меня с новым интересом. Считать он умел, только раньше ему было незачем.

— Он так и велел: придёт женщина в сером, вдова, не сегодня завтра. Как придёт — в ту же ночь.

Значит, за госпожой Морн ходили. Кто-то знал, что она пойдёт к нам, раньше, чем она сама решилась, и готов был платить четыре арки за две строки из нашего реестра. Я прикинул, что в этих строках стоит таких денег. Формулировка? Вряд ли. Плата? Смешно. Оставался срок.

— Как он выглядит?

— Сухой такой, лет пятьдесят. Говорит тихо, будто в библиотеке. Шляпа хорошая, башмаки дорогие, а правая манжета вся в чернилах. Писарь, только не казённый. У казённых нарукавники.

— Имя своё называл?

— Нет. Я и не спрашивал: кто платит вперёд, тот может быть хоть никто.

— Где встречались?

— В «Трёх петлях», у Соляного рынка. Он сам ко мне подсел. Знал, кто я, и знал, что я теперь сам по себе. — Тут Никс в первый раз за ночь нахмурился. — Вот это мне сразу не понравилось. Я из артели три месяца как вышел. Про это знает артель и ещё человек пять.

— Из какой артели?

Он поглядел так, будто я спросил, из какой реки вода в Сойме.

— «Тихие руки».

Про «Тихие руки» в Ортене знает всякий, кто хоть раз терял кошелёк и хотел вернуть его без стражи. У них устав, касса, старшина и расценки; говорят, с ними можно договориться о чём угодно, кроме скидки. За десять лет в искателях я дважды нанимал у них людей на замки и оба раза остался доволен, хотя и беднее.

— Почему вышел?

— Это к делу не относится.

— Относится. Я решаю, вести тебя утром в околоток или нет.

— А, ну тогда так. Мне дали работу, я от неё отказался. У нас так нельзя: либо берёшь, либо платишь выходную долю и гуляешь. Я гуляю. Доля — двенадцать арок, срок до Лишней недели. Отсюда и господин с манжетой: четыре арки — это треть.

— Что за работа была?

— Плохая была работа.

Больше он ничего не прибавил, и я не стал давить. Человек, который отказался от дурного заказа ценой двенадцати арок, либо врёт, либо стоит того, чтобы к нему присмотреться. Проверить можно было и позже.

Адель всё это время стояла у стола. Соль она не убрала.

— Он открыл наш засов снаружи. Оба засова. И подвязал колокольчик. Сколько на это нужно времени?

— На входной? — Никс обернулся к ней с готовностью мастера, которого спросили о ремесле. — На входной у вас засов старый, кованый, ходит туго, это плохо: туго — значит, скрипит. Я его сперва маслом, через щель, с пёрышка. Потом нитку. Потом ждёшь, пока стихнет на втором этаже. Всего, наверное, четверть колокола, если с ожиданием. А колокольчик — это просто руку просунуть и не дышать. Кухонный — тот вообще смех, я его на ходу.

Адель повернулась ко мне.

— Четверть колокола. Рик, ты вчера говорил, что нам нужен человек.

— Я помню, что я говорил.

— Он вошёл в дом с двумя жильцами и одним… — она поискала слово для Плюха и не нашла. — И вышел бы, если бы не контур, о котором он не мог знать. По-моему, это соответствует требованиям.

— По-моему, он влез в мой дом.

— В наш.

Никс переводил взгляд с неё на меня. До него дошло быстрее, чем я рассчитывал.

— Погодите. Вы что, нанять меня хотите?

— Я хочу понять, кому ты утром понесёшь то, что прочёл.

— Никому не понесу, если не выпустите.

— А если выпущу?

Он честно подумал.

— Тогда понесу. Он обещал ещё две арки. Мне до Лишней недели нужно двенадцать, я же объяснял.

Вот это мне в нём понравилось больше нитки с петлёй. Вор, который в такую минуту клянётся, что будет нем как рыба, не стоит табурета, на котором сидит. Этот выложил как есть.

— Что ты успел прочесть?

— «Украсть мужа заказчицы, Юлиана Морна, из усадьбы Тихая Мыза под Вязелем и доставить…» — он запнулся. — Дальше не успел, вы велели положить.

Последние слова он договаривал уже другим голосом. Что-то в прочитанном дошло до него только сейчас, когда он произнёс это вслух.

— Тихая Мыза. Это где три мельницы? На Вязе?

— Ты там был?

— Нет, — он убрал ногу от плиты и поставил на пол, в мокром чулке, прямо на холодную плитку. — И не пойду. Вы меня для этого хотели? Тогда ведите в околоток.

Я ждал чего угодно: торга, наглости, просьбы отдать сапог. К тому, что он выберет Бора и протокол, я готов не был.

— Что там, на Мызе?

— Не знаю.

— Никс, не ври.

— Правда не знаю. Никто не знает, в том и дело, — он потёр переносицу, где нос уходил влево. — Две недели назад туда пошёл Щегол. Это наш… это из артели. Лучший по замкам, какого я знаю, а я видел всех. Он в Тессе банк Корво открывал, вдвоём с напарником, и вышел сухим. Он меня учил. Шёл на три дня: войти, взять одну вещь, выйти. Заказ был мелкий, баба какая-то платила, пять арок, он взял от скуки. И не вернулся.

— Может, поймали?

— Если бы поймали, сидел бы в Вязеле в холодной, и артель знала бы через день: у нас при каждой тюрьме свой человек носит еду. Не сидит. Не лежит в канаве: искали. Вошёл на мельницу и не вышел.

— Что говорит ваш старшина?

— Дядя Мох? — Никс скривился. — Дядя Мох говорит: риск вошёл в цену. И закрыл разговор. А у нас так не закрывают. Своих у нас ищут, это в уставе, третья статья, я её наизусть знаю, меня по ней самого два раза искали. А тут — «вошёл в цену». И всем велено забыть.

Адель наконец положила пакет на стол.

— Баба, которая платила, — уточнил я. — В сером?

— Я её не видел. Щегол говорил — вдова. Сухая, говорил, как счёт от портного.

Портрет был точный.

Вчера утром я сидел напротив этой женщины, и она смотрела на мою карту, пока я спрашивал, почему двадцать шестое. О том, что мы у неё вторые, она промолчала. Промолчала и о том, что первым был лучший замочник «Тихих рук», а дом, в который она нас посылает, его не выпустил. Она отдала двадцать арок старого золота и попросила записать «мужа».

Бор хотел вешать под «ОПАСНОЕ». Надо было слушать Бора.

— Значит, так. Сапог я тебе отдам. В околоток не поведу. За засов и за нитку в моей двери с тебя штраф, створка. Вычту из первого жалованья.

— Из какого жалованья?

— Арка в неделю на испытании. Еда здесь. Комната наверху, вторая от лестницы, там пыльно. Через месяц поговорим о доле.

— Я же сказал: на Мызу не пойду.

— Ты сказал, что не знаешь, что случилось со Щеглом. Я через два дня еду туда, где это можно узнать. Со мной поедет человек, который двадцать шесть лет находил тех, кто не вышел, и женщина, которая кладёт мушиную бумагу на чёрный ход для опыта. Ты можешь

поехать с нами и командовать, когда дойдёт до замков. Или можешь взять сапог, получить у господина с манжетой свои две арки и до Лишней недели гадать, что там, на мельнице.

Он молчал. С чулка на плитку натекла лужица.

— Командовать? — спросил он наконец.

— Пятое правило. Висит на стене у двери, утром прочтёшь. Кто специалист, тот и командует.

— А вы?

— А я считаю расходы и смотрю, чтобы все вернулись.

— Все — это и Щегол?

Вопрос был задан легко, почти небрежно. Он глядел при этом на плиту.

— Если он там есть. Обещать за дом, которого не видел, я не буду.

Никс отвернулся к плите. Такой ответ ему, похоже, понравился больше, чем понравилось бы обещание.

— А господину с манжетой что передать?

— Правду. Что заказано, слово в слово. И что выезжаем мы одиннадцатого, после того как заказчица довезёт деньги на расходы.

— А на самом деле?

— А на самом деле послезавтра на рассвете. Две арки с него получи обязательно. Одну отдашь мне.

— Это ещё за что?

— За сведения, которые ты ему продашь. Они мои.

Он возмутился, открыл рот — и захохотал. Смеялся он хорошо, всем лицом, и сразу стал похож на того, кем был: на мальчишку, который три месяца один и рад, что на него наконец кто-то орёт.

— Половину. Это честно. Пишите как хотите, только не «вор». Меня по бумагам вообще нет, а если появлюсь, то не так.

Я принёс из приёмной книгу расходов. Весовая палата проверяет её раз в год и очень не любит слов, которых нет в её перечне занятий. «Взломщика» там нет. «Замочника» тоже: замочники состоят в цехе и платят цеховой сбор.

В графе «кому» я написал: «Никс». В графе «за что» подумал и вывел: «Специалист по доступу в труднодоступные помещения, на испытании».

Адель прочла через моё плечо.

— Это неточно. Он уже доказал, что помещение было доступным.

— Для него. Иди спать.

* * *

Бор приходит ко второму колоколу. К этому часу мёртвый рассол уже съел линию на пороге, сапог вернулся к владельцу, а тот сидел за кухонным столом и ел яичницу из четырёх яиц. Яйца были наши. Сковороду он нашёл сам.

Бор остановился в дверях кухни и посмотрел сперва на сапоги.

— Валлен шил.

— Угу, — отозвался Никс с набитым ртом.

— Рыночный ряд. Лет восемь назад, у зеленщиков. Ты был вот такой, — Бор показал ладонью чуть выше стола. — Таскал редиску.

Никс перестал жевать.

— Яблоки. Редиску я не ем. А вы сержант Грейн. Вы меня тогда не поймали.

— Я не ловил. Ты был мелкий, а у меня болела спина.

— В артели вас звали Засов.

— Знаю.

— Потому что если задвинулся, то всё.

— Знаю, — повторил Бор и повернулся ко мне. — Выйдем.

Мы вышли в приёмную. Он снял плащ, повесил, сел на своё место, и только тогда спросил:

— Откуда он взялся?

Я рассказал. Вышло короче, чем было ночью: взломщик, манжета, четыре арки за две строки, Щегол, вдова. Про мушиную бумагу на чёрном ходу Бор попросил повторить и некоторое время смотрел в сторону кабинета.

— Щегла я знаю, — произнёс он потом. — Дважды брал и дважды отпускал: не за что было держать. Чисто работает. Если такой не вышел из дома, значит, дом непростой.

— Или хозяйка.

— Или хозяйка, — он потёр колено. — А этого ты, значит, взял.

— На испытании.

— Он тебя продаст.

— Он сам так и заявил. Поэтому я дал ему что продавать. Манжета узнает, что мы едем одиннадцатого. Мы едем девятого.

— А если манжета не дурак?

— Тогда он узнает, что мы считаем его дураком. Тоже сведение.

Бор хмыкнул. Он не любит, когда я отвечаю складно: за двадцать шесть лет он наслушался складных ответов и знает им цену.

— По какой он книге записан?

— Ни по какой. Имя одно, фамилии нет.

— Вычеркнутый, — без удивления заключил Бор. — Их в городе сотни три. В восемьдесят шестом вычеркнули город, а людей вычеркнуть забыли. Они сюда и пришли, кто дошёл. Этого, видно, принесли.

Про Гельт я знал то, что знают все: был город на востоке, был Соляной бунт, города на картах больше нет. Мне тогда было двенадцать, и взрослые при нас об этом не говорили. Что вычеркнутые живут в Ортене без имён по книгам и что стража знает их число с точностью до сотни, я слышал впервые.

— Это мешает?

— Мне нет, — он поднялся. — Мешает, что он ест в нашей кухне, а ночью ел бы из кассы, не будь там бумаги для мух. Ты его нанял, ты и смотри. Я тоже посмотрю.

Больше Бор ничего не добавил. Он подошёл к доске, постоял перед ней и вернулся к камину. Я снял обрезок с номером двести семнадцать и перевесил на гвоздь правее, под «ОПАСНОЕ». Бор не повернул головы, и это было хуже любого слова.

День мы разделили так. Никс к полудню идёт в «Три петли» за своими двумя арками. Бор идёт туда же на четверть колокола раньше и садится напротив: у него там, оказывается, тоже есть кружка. После этого он заглянет в околоток и спросит про Щегла — тихо, у тех, кто должен ему услугу. Адель с утра ушла «читать»; куда, она не объяснила, но надела шляпу, которую надевает, когда не хочет, чтобы её узнавали, и по которой её узнаёт вся улица.

Мне оставалась госпожа Морн.

* * *

Нижний мост соединяет приличный берег с красильной слободой, и селятся у него те, кому чистая сторона уже не по деньгам, а красильщики ещё не по гордости. Дом я нашёл по запаху. Внизу была красильня: в открытых воротах стояли чаны, над чанами пар, и вода в канаве текла тремя полосами, синей, бурой и жёлтой. Я вспомнил серое платье с тёмными швами. Перекрасить здесь стоило, должно быть, дешевле, чем отдать прачке.

Комната была на втором этаже, одна, с окном на реку. Кровать, застеленная без складки. Стол, на нём стопка деловых писем и рядом вторая, такая же, но другим почерком: она брала переписку. Два стула. Шкаф. И письменное бюро у окна.

Оно было из другой жизни. Ореховое, на тонких ногах, с откидной доской и рядом ящичков под ней, с латунными накладками, которые кто-то чистил каждую неделю. В этой комнате оно стояло, как стоит в ломбарде чужое фамильное серебро.

Госпожа Морн не предложила мне сесть. Она стояла между мной и бюро, с четырьмя арками в руке, приготовленными заранее.

— Вы пришли за остатком.

— И за ним, — я взял деньги и выписал расписку на подоконнике. — Госпожа Морн, кто такой Щегол?

Она не изменилась в лице. Только рука с распиской пошла вниз медленнее, чем нужно.

— Я не знаю этого имени.

— Молодой человек из артели «Тихие руки». Две недели назад вы заплатили ему пять арок, чтобы он вошёл на Тихую Мызу и вынес одну вещь. Он обещал вернуться через три дня.

— Он обещал через три, — ответила она после долгой паузы. — Я ждала десять. Потом пошла к ним, и какой-то человек с бородой, как мох, объявил мне, что риск вошёл в цену и чтобы я больше не приходила.

— И вы пошли к нам.

— Да, к вам.

— И не сказали.

— Вы бы отказались.

— Я бы назвал другую цену.

— У меня нет другой цены, господин Вельд, — она произнесла это без жалобы, как сообщают остаток на счёте. — Двадцать арок — это то, что осталось от приданого. Четыре, которые вы сейчас взяли, я заняла у хозяина красильни под переписку до весны. Тридцать, которые я вам должна по исполнении, у меня появятся только в одном случае. Вы понимаете в каком.

— Если по вашему мужу сведут расчёт до двадцать шестого.

Что мы докопались и до этого, её не удивило: вчера она вписала в мой реестр слова «до закрытия весовой» и, похоже, понимала, что делает.

— Тогда давайте заново. Вчера вы рассказали мне то, за что не стыдно. Теперь остальное. Что вы велели Щеглу вынести?

— Я не знала что. Я сказала: то, к чему привязан мой муж. Он засмеялся и ответил, что в чужом доме привязанное найти легче всего, оно лежит отдельно, — она помолчала. — Он был очень в себе уверен. Мне это понравилось. Я подумала: вот человек, который не будет меня ни о чём спрашивать.

— Он что-нибудь рассказал, прежде чем уйти? Как собирается входить, с какой стороны?

— Сказал, что мельницы — это хорошо, потому что шумят. И что войдёт с воды.

С воды. Я запомнил.

— Теперь дом. Кто там живёт, кроме вашей сестры?

— Управляющий, Гуннар Стиг. Отец нанял его лет девять назад, из отставных солдат. Он хромает и никому не верит. Экономка, Грета Лунд, она в доме дольше, чем я на свете. Её сын при мельницах. Ещё работники, но те ночуют в слободе.

— А сторожа?

— При отце было двое. Сколько теперь, не знаю. Когда я приезжала, у ворот стояли четверо, и один держал собаку, — она показала рукой себе по пояс. — Плёсский волкодав. Раньше у нас таких не держали, отец говорил, что мельнице довольно замка и доброй славы.

— Защита на доме есть? Контуры, сторожки?

— Домовой расчётчик приходил из Вязеля дважды в год, мэтр Квист. Тихий человек, боится мышей. Что он там чертил, я не вникала.

— Подвалы есть?

Она задумалась, и в первый раз за два разговора я увидел, что она вспоминает не обиду, а дом.

— Под мельницей два. Верхний — под мешки и под инструмент, туда ходили все. Нижний отец запирал сам и ключ носил при себе. Говорил, там сыро и кладка старая, старше мельниц. Мы с Катриной в детстве считали, что он прячет там вино.

— А что он там прятал?

— Я ни разу не спросила, — ответила госпожа Морн. — Тогда мне казалось, что это неважно.

Четверо у ворот вместо двоих, собака, которой прежде не держали, и подвал, который старше мельниц. Щегол собирался войти с воды, то есть как раз оттуда.

— Кто знал, что вы пойдёте к нам?

— Никто не знал.

— Хозяйка? Хозяин красильни? Кто-нибудь, кому вы показывали письмо?

— Я никому его не показывала. Вы первый, — она нахмурилась. — Почему вы спрашиваете?

— Потому что за два дня до вашего прихода человек заплатил четыре арки, чтобы узнать, что вы мне закажете.

Вот тут она села. На край кровати, прямо, сложив руки на коленях. Брачный браслет съехал на запястье, и она его поправила.

— Я три дня ходила мимо вашей двери. Туда и обратно, по другой стороне улицы. Смотрела на вывеску. Я не могла решить, что глупее: поверить письму или не поверить.

Человеку, который следит, трёх дней хватило бы с избытком.

— Можно посмотреть бюро?

Она встала и отошла к окну.

Замок на ящике был маленький, тесской работы, как говорят у нас про всё, что сделано тоньше обычного. Вокруг скважины ни одной царапины. Я попросил ключ; она сняла шнурок через голову и подала мне, не выпуская конца. Ящик выдвинулся легко. Внутри лежали брачное свидетельство, пачка писем, перевязанная тесьмой, и расписка гробовщика из Вязеля на дубовый гроб с латунными ручками, оплаченный и, как теперь выяснялось, ненужный.

В дальнем левом углу, там, где дно сходилось со стенкой, было серо. Я провёл пальцем. Песок, совсем немного, меньше щепоти.

— Я вытирала дважды, — госпожа Морн стояла у меня за спиной. — Он опять там.

Я сунул руку глубже, до задней стенки. В ящике было холоднее, чем в комнате, как бывает в погребе, только суше. У самой стенки пальцы на миг перестали чувствовать дерево. Они не онемели: под ними просто ничего не оказалось, ни доски, ни воздуха, а потом доска вернулась.

Руку я вынул, наверное, быстрее, чем следовало.

— Что там? — спросила она.

— Задняя стенка. Целая. Без щелей.

Это была правда. Остальное я решил сначала обдумать сам. С таким ощущением в пальцах я был знаком. Оно приходило ко мне раза четыре за десять лет, и каждый раз в старых местах, возле камней, к которым маги не знали, как подступиться. Я называл это лёгкой рукой и не рассказывал о ней никому, потому что искатель с таким даром стоит дороже, пока не объясняет, в чём она состоит.

В ореховом бюро, в наёмной комнате над красильней, ей делать было нечего.

— Он подарил вам его на Мызе. Оно там стояло до того?

— Оно там было всегда. В отцовской конторе, внизу, у мельничной стены. Юлиан выпросил его у отца, когда мы уезжали. Сказал, что мне нужно где-то держать его счета, — она почти улыбнулась. — Счета я и держала.

Бюро из дома на Мызе, из комнаты у мельничной стены. Письмо на бумаге из полевой книжки. Морской песок. Я сложил это в один столбик и не стал подводить черту: слагаемых пока было меньше, чем неизвестных.

— Вчера у двери вы хотели что-то передать. И передумали.

Госпожа Морн смотрела на реку. Мимо моста тянули баржу с тюками, и бурлаки шли по колено в синей воде.

— Узнайте у него, за что он просит прощения. Он пишет: «Прости за всё». Список длинный, господин Вельд. Я шесть лет вела его дела и семь лет плачу его долги. Я хочу знать, какой пункт он имеет в виду.

— А если он скажет — все?

— Тогда это не он. Юлиан никогда не признавал больше одного пункта за раз.

Я вернул ей ключ. На лестнице пахло квасцами и мокрой шерстью, и красильщик внизу, увидев меня, отвернулся с видом человека, который ничего не видел и за это уже получил.

Домой я шёл через Арочную площадь. Под Третьей аркой, как всегда в дождь, стояли извозчики и торговка с жаровней. Арка была серая, пустая, сквозь неё виднелась ратуша. Я прошёл под ней, как проходил тысячу раз, и только на той стороне заметил, что держу правую руку в кармане, сжатую в кулак.

* * *

На Старых Весах мясник Крамп выставил на крыльцо таз с костями и провожал меня взглядом до самой двери. У него опять что-то пропало. Я сделал вид, что считаю ворон.

Колокольчик был на месте, развязанный. В приёмной никого: Бор и Никс ещё не вернулись из «Трёх петель», кабинет заперт. Из шкафа доносилось ровное сопение.

Карточку я увидел, когда закрывал дверь. Она лежала на полу, у самого порога: кто-то просунул её в щель, пока дом был пуст. Плотная бумага с тиснёным краем, какую заказывают люди, продающие дорогое немногим.

«Корнелис Хоббе. Древности и редкости. Набережная Стекольщиков, четыре».

Ниже, от руки, очень мелко и очень чисто:

«Господин Вельд! Буду рад видеть Вас сегодня до шестого колокола по делу, которое Вы взяли вчера утром. Полагаю, мы можем избавить друг друга от лишних расходов. Вашему новому сотруднику мои извинения: я не предполагал, что он задержится».

Я прочёл это стоя, в мокром плаще.

Никс получил свои две арки от человека с манжетой час назад, самое большее. Вернуться и доложить он ещё не успел. А тот, кто писал карточку, уже знал, что Никс остался у нас.

Значит, одиннадцатое число мы продали тому, кто и так читал нас с листа.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.